

1

The room and a half (if such a space unit makes any sense in English) in which the three of us lived had a parquet floor, and my mother strongly objected to the men in her family, me in particular, walking around with our socks on. She insisted on us wearing shoes or slippers at all times. Admonishing me about this matter, she would evoke an old Russian superstition; it is an ill omen, she would say, it may bode a death in the family.

Of course, it might be that she simply regarded this habit as uncivilized, as plain bad manners. Men's feet smell, and that was the pre-deodorant era. Yet I thought that, indeed, one could easily slip and fall on a polished parquet, especially if one wore woolen socks. And that if one were old and frail, the consequences could be disastrous. The parquet's affinity with wood, earth, etc., thus extended in my mind to any ground under the feet of our close and distant relatives who lived in the same town. No matter what the distance, it was the same ground. Even living on the other side of the river,

1

В полутора комнатах (если такая мера пространства понятна по-английски), где мы жили вдвоем, был паркет, и маме очень не нравилось, когда мужчины в семье, особенно я, ходили по нему в носках. Она требовала, чтобы мы не снимали ботинки или тапочки. Выговаривая мне по этому поводу, мама вспоминала старое русское суеверие; дурная примета, говорила она, — может умереть кто-то из близких.

Конечно, она просто могла считать это некультурной привычкой, обычной невоспитанностью. Мужские ноги скверно пахнут, а дезодорантов в ту эпоху не было. Однако я думал, что на полированном паркете и впрямь легко поскользнуться, особенно в шерстяных носках. А если стар и немощен, последствия могут быть катастрофическими. Родство паркета с деревом, землей и т. д. тем самым распространялось у меня в голове на любую почву под ногами нашей близкой и дальней родни, жившей в том же городе. Почва — не важно, далекая или близкая — была та же. Даже если живешь на другом берегу реки,

where I would subsequently rent an apartment or a room of my own, didn't constitute an excuse, for there were too many rivers and canals in that town. And although some of them were deep enough for the passage of seagoing ships, death, I thought, would find them shallow, or else, in its standard underground fashion, it could creep across under their bottoms.

Now my mother and my father are dead. I stand on the Atlantic seaboard: there is a great deal of water separating me from two surviving aunts and my cousins: a real chasm, big enough to confuse even death. Now I can walk around in my socks to my heart's content, for I have no relatives on this continent. The only death in the family I can now incur is presumably my own, although that would mean mixing up transmitter with receiver. The odds of that merger are small, and that's what distinguishes electronics from superstition. Still, if I don't tread these broad Canadian-maple floorboards in my socks, it's neither because of this certitude nor out of an instinct for self-preservation, but because my mother wouldn't approve of it. I guess I want to keep things the way they were in our family, now that I am what's left of it.

где я сам потом снимал квартиру или комнату, — все равно не оправдание: в том городе было слишком много рек и каналов. И хотя некоторым хватало глубины, чтобы по ним ходили морские суда, смерти, думал я, они покажутся мелкими — ну или переползет она их под землей, как ей полагается, втайне.

Теперь мамы и папы уже нет в живых. Я стою на побережье Атлантики: от двух их переживших теток и моих двоюродных родичей меня отделяет много воды — настоящая пропасть, такая смутит даже смерть. Теперь я могу разгуливать в носках сколько душе угодно, потому что родственников на этом континенте у меня нет. Единственная смерть близкого, которую я могу навлечь, — видимо, моя собственная, хотя тут перепутались бы передатчик с приемником. Вероятность такого слияния мала, и как раз это отличает электронику от суеверия. И все же, если я не хожу по широким половицам из сахарного клена в носках, то не из уверенности в этом, да и не из инстинкта самосохранения, а потому, что не одобрила бы мама. Наверное, мне хочется, чтобы все оставалось так же, как было заведено у нас в семье, раз от нее теперь остался только я.

2

There were three of us in that room and a half of ours: my father, my mother, and I. A family, a typical Russian family of the time. The time was after the war, and very few people could afford more than one child. Some of them couldn't even afford to have the father alive or present: great terror and war took their toll in big cities, in my hometown especially. So we should have considered ourselves lucky, especially since we were Jews. All three of us survived the war (and I say "all three" because I, too, was born before it, in 1940); my parents, however, survived the thirties also.

I guess they considered themselves lucky, although they never said as much. In general, they were not terribly self-aware, except when they grew old and malaises began to beset them. Even then, they wouldn't talk about themselves and death in that way that terrifies a listener or prods him to compassion. They would simply grumble, or complain addresslessly about their aches, or discuss at length some medicine or other.

2

В тех полутора комнатах нас жило трое: папа, мама и я. Семья, обычная русская семья того времени. Время было послевоенное, и очень немногие могли себе позволить больше одного ребенка. Некоторым даже не доставалось живого или наличествующего папы: большой террор и война взяли свое в крупных городах, в моем родном — особенно. Поэтому считалось, что нам повезло — вдвойне, раз мы были евреи. Все втроем мы пережили войну (а я говорю «все втроем», потому что и сам родился до нее, в 1940-м); родители мои, вместе с тем, пережили еще и тридцатые.

Наверное, они тоже считали, что им повезло, хотя вслух этого не говорили. У них вообще с самоосмыслением было туго — пока не постарели и их не начали одолевать болезни. Но и тогда они были не слишком склонны рассуждать о себе и смерти так, чтобы слушатель, ужаснувшись, принялся бы им сочувствовать. Они просто ворчали или жаловались на болячки, ни к кому конкретно не обращаясь, или подолгу

The closest my mother would ever come to uttering something of the sort would be while pointing at an extremely delicate set of china, saying: This will become yours when you get married or when . . . and she would interrupt herself. And, once, I remember her on the phone talking to some distant friend of hers who I was told was ill: I remember my mother emerging from the telephone booth on the street, where I was waiting for her, with a somewhat unfamiliar look in her so familiar eyes, behind her tortoiseshell-rimmed glasses. I leaned toward her (I was already a good deal taller) and asked what the woman had said, and my mother replied, staring aimlessly ahead: “She knows that she is dying and was crying into the phone.”

They took everything as a matter of course: the system, their powerlessness, their poverty, their wayward son. They simply tried to make the best of everything: to keep food on the table—and whatever that food was, to turn it into morsels; to make ends meet—and although we always lived from payday to payday, to stash away a few rubles for the kid’s movies, museum trips, books, dainties. What dishes, utensils, clothes, linen we had were always clean, polished, ironed, patched, starched. The tablecloth was always spotless and crisp, the lampshade above it dusted, the parquet shining and swept.

обсуждали то или иное лекарство. Самое близкое к таким делам — когда мама замечала, показывая на какой-нибудь особо изысканный сервиз: «Будет твой, когда женишься или когда...» — и осекалась. И как-то раз, помню, она звонила неблизкой подруге, про которую мне было сказано, что она болеет; мама вышла из телефонной будки — я ждал рядом на улице — с каким-то незнакомым блеском в таких знакомых глазах за очками в черепаховой оправе. Я склонился к ней (уже тогда я намного ее перерос) и спросил, что эта женщина ей сказала; а мама ответила, пусто глядя перед собой: «Она знает, что умирает, и плакала в трубку».

Они всё принимали как должное: систему, собственную беспомощность, бедность, своего непутевого сына. Они просто пытались никогда не падать духом: чтобы на столе была еда — и какой бы та ни оказалась, делали так, чтоб ее можно было есть; чтобы сводились концы с концами — и хотя мы неизменно жили от получки к получке, они всегда откладывали несколько рублей ребенку на кино, музей, книги, конфеты. Вся посуда, утварь, одежда, белье, что у нас имелось, всегда были чисты, надраены, отутюжены, защищены, накрахмалены. Скатерть — без единого пятнышка — хрустела, на абажуре над ней — ни пылинки, паркет — сиял и всегда подметен.

The amazing thing is that they were never bored. Tired, yes, but not bored. Most of their time at home, they were on their feet: cooking, washing, circulating between the communal kitchen of our apartment and our room and a half, fiddling with this or that item of the household. When they were seated, it was of course for meals, but mainly I remember my mother in a chair, bent over her manual-cum-pedal Singer sewing machine, fixing our clothes, turning old shirt collars inside out, repairing or readjusting old coats. As for my father, his only time in a chair was when he was reading the paper, or else at his desk. Sometimes in the evening they would watch a movie or a concert on our 1952 TV set. Then they would also be seated . . . This way, seated in a chair in the empty room and a half, a neighbor found my father dead a year ago.

Поразительно, что им никогда не бывало скучно. Уставали они — это да, но не скучали. Время дома по большей части проводили на ногах: готовили, стирали, ходили между общей кухней и нашими полутора комнатами, возились с чем-нибудь по хозяйству. Садись, разумеется, чтобы поесть, но маму на стуле я помню, главным образом, сторбленной над ножной машинкой «Зингер» — она латала нам одежду, перелицовывала воротнички на старых рубашках, чинила или перешивала старые пальто. А отец в кресле только читал газету — ну или сидел за рабочим столом. Иногда по вечерам они смотрели кино или концерт по нашему телевизору 1952 года. Тогда они тоже сидели... Вот так же год назад папу и нашла мертвым соседка — в кресле, в пустых полутора комнатах.